АЛЕКСАНДР
КУПРИН

ВИННАЯ БОЧКА



Винная бочка

Александр Иванович Куприн

Аннотация
Александр Иванович Куприн. Винная бочка.
Гротеск

Аннотация

Чтоб сорвать поцелуй дамы, молодой прокурор, будучи не в самом подходящем состоянии после дегустации вин, вызвался «посетить» в винную бочку через весьма узкое отверстие. Первый этап герою с горем пополам удался, но вытаскивать пришлось его всем миром.

Александр Иванович Куприн
Винная бочка[1]
Гротеск

[1] Примечания: 1

Впервые — в газете «Русское слово», М. 1914, 23 февраля, № 45, с подзаголовком «Гротеск» и посвящением Сергею Яковлевичу Елпатьевскому. Прототипом Якова Сергеевича Калиновича, упоминаемого в рассказе, послужил, по-видимому, Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933) — писатель, публицист и врач, с которым Куприн встречался в Ялте.



В тот год ялтинский сезон был особенно многолюден и роскошен. Впрочем, надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый — самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенно приезжие студенты, курсистки, средней руки

чиновники и, главным образом, больные. Они не ездят верхом, не пьют шампанского, не кокетничают с проводниками, селятся где-нибудь над Ялтой: в Аутке, в Ай-Василе, или Дерикое, или в татарских деревушках, и главная их слабость — посылать домой, на Север, открытки с видами Ялты, с восторженными описаниями красот Крыма. На огромных неуклюжих дилижансах «Бебеш» они ездят осматривать окрестности: Лесничество, Уч-Кош, Ай-Петри, Учан-су, Симеиз, Суук-су, Гурзуф, Алупку и другие. Местные жители, татары, у которых главное занятие — высасывать кровь из туристов, смотрят на эту публику свысока и обращаются с нею грубо и пренебрежительно.

Само собою разумеется, что шелковый сезон — более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире: многие ездят в горы верхом, но перед тем, как заказать лошадь, довольно-таки долго торгуются. В городском курзале начинаются балы, а в парке по вечерам играет прекрасный струнный оркестр. Номера в гостиницах почти все заняты, и цены на все нужное и ненужное

возрастают вдвое и втрое.

Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей великого поста, с пасхой и фоминой неделей. Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости делать визиты; другие — в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку; а третьи — их большинство — потому, что это модно, что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства. Природы, конечно, никто не замечает. А надо сказать, что именно в это раннее весеннее время Крым, весь в бело-розовой рамке цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков и абрикосов, еще не пыльный, не зловонный, освеженный волшебным морским воздухом, — поистине прекрасен.

В это время уже не торгуются с татарами, а просто нанимают верховых лошадей и проводника на весь сезон. О ценах никогда не спрашивают. Заказывают заранее по телеграфу несколько комнат в самых шикарных отелях и сыплют золото горстями налево и направо с такой милой бесцеремонностью, точно играют морскими

гальками.

Вот в один из этих бархатных сезонов, о котором благодаря его блеску старожилы вспоминают чуть ли не до сих пор, приехал в Ялту Игнатий Игнатьевич Лешедко, товарищ прокурора из Петербурга, молодой человек, со связями, стоящий уже «на виду» (несмотря на свою молодость, он успел «зафиксировать» тридцать шесть смертных приговоров) и не особенно стесняющийся денежными средствами. По какой-то счастливой случайности ему удалось занять номере самой шикарной гостинице — «Россия», — правда, на самом верху, но марка отеля чего-нибудь да стоит!

Быстро завязались знакомства. Так быстро, как это бывает только в Ялте: два-три человека, с которыми он встречался в обществе, хотя и мимоходом, один миллионер-золотопромышленник, которого Лешедко прошлой зимой обвинял, — и, надо сказать, совсем неудачно, — знаменитый певец, который хотя при первой встрече и не узнал прокурора, но сделал вид, что очень обрадован, и с милой актерской улыбкой, крепко пожимая руку Лешедко, пропел:

— Ка-ак же, ка-ак же, батенька! Еще бы не узнать. Рад, чрезвычайно рад увидеть вас. Ну, что новенького? Простите, ради бога: забыл имя и

отчество. Ах, да! Ну, конечно, Игнатий Игнатьевич. Я сам хотел так сказать, но, знаете, боязнь переврать как-нибудь… неудобно, неприятно.

Были также в Ялте две шикарные петербургские кокотки, знакомые прокурору по Медведю, Аквариуму и Эрнесту, Манька-Кудлашка и Надька-Драма. Но с ними он не считал нужным раскланиваться, хотя при встрече всегда боязливо отводил вбок глаза или начинал пристально рассматривать магазинные витрины. Когда же ему приходилось во время случайных встреч быть в присутствии знакомой дамы, он весь замирал и холодел от ужаса. В самом деле, что стоит этим отчаянным существам вдруг крикнуть ему вслед:

— Здравствуй, Игнашка! Стыдно не узнавать своих друзей! Вспомни, как ты не заплатил Зинке проигранные на пари сто рублей!

А главным образом потому, что в это время он был заинтересован прелестной женщиной, баронессой Менцендорф, вдовой тридцати лет, пышной красавицей, взбалмошной, капризной и ребячливой. Была ли это любовь, — трудно сказать. В душу современных молодых людей, а в особенности товарищей прокурора, делающих большую, видную карьеру, не влезешь. Вернее

всего предположить, что была здесь отчасти чувственность, отчасти самолюбивое удовольствие показываться повсюду в обществе блестящей светской женщины, которая своими туалетами от Пакена, именем, эффектной красотой и пленительной, грациозной эксцентричностью завоевала высокое звание царицы сезона, отчасти, — кто знает? — и миллионы прекрасной баронессы имели какую-нибудь притягательную силу.

Ежедневно составлялись пикники, кавалькады, поездки верхом или в легоньких колясках-плетенках. Лешедко чувствовал, что на него глядят благосклонно, и между ним и баронессой уже как будто наклевывался отдаленный, невинный флирт. Казалось, судьба явно улыбалась ему, но три вещи смущали прокурора.

Первое — это то, что он плохо сидел на лошади. Стоя на земле, он был не только корректен, но, пожалуй, даже красив: хорошего роста, стройный, в синих тугих рейтузах, в форменной фуражке, в белоснежном коротком кителе, почти открывавшем его зад, с пенсне на носу, со стеком в руке, которым непринужденно похлопывал себя по лакированным сапогам, со своим выхоленным лицом породистого щенка. Но на лошади

он окончательно проигрывал свои внешние достоинства. Еще когда лошадь шла шагом, ему удавалось принять, в подражание знакомым офицерам гвардейской кавалерии, натянутую, но сравнительно приличную посадку. Но когда кавалькада пускалась рысью или галопом, то душа прокурора уходила в пятки, шапка съезжала на затылок, локти болтались, как у деревенских мальчишек, которые скачут в ночное на неоседланных клячах, ноги то уходили по самые каблуки в стремена, то совсем выскакивали из стремян, и приходилось поневоле хвататься за гриву. «Черт возьми! — думал он в эти тяжелые минуты. — Что за глупость скакать как ошалелые! Спешить нам некуда — над нами не каплет. Положительно глупая затея!»

Неприятнее всего было то, что баронесса Анна Владимировна бесцеремонно и громко смеялась над его «своеобразной», как она говорила, манерой ездить. Правда, она же на балах выбирала постоянным кавалером Лешедко, который, надо отдать ему справедливость, танцевал непринужденно, с большой легкостью и держался чрезвычайно изящно.

Вторая неприятность заключалась в том, что ему никогда не удавалось остаться наедине с

прелестной баронессой. Она всегда была окружена молодежью, пожилыми людьми и даже превосходительными старцами, и все это были сливки ялтинских гостей. Как ни старался Лешедко урвать хоть несколько минут тайного и пылкого разговора с Анной Владимировной, — этого ему никогда не удавалось. А третья беда, самая главная, состояла в том, что свита баронессы, рабски послушная ее фантазиям и причудам, вела безумно широкий образ жизни, и за ними поневоле приходилось Лешедко тянуться с таким усердием, что, казалось, вот-вот лопнут жилы или кости выйдут из суставов. А сезон между тем крепчал и крепчал, и цена на все поднималась с такой же быстротой, как ртуть в градуснике, который держат над горящей лампой.

«Нет, — размышлял порою Лешедко по утрам, когда пил кофе, просматривал ресторанные счета и занимался отделкою своих ногтей. — Нет, черт возьми! Я иду неправильным путем. Необходимо сделать что-нибудь смелое, героическое, необыкновенное, что всегда так покоряет мечтательное сердце женщины! Но что? Что?»

Однажды утром прибежал снизу мальчишка-комми, в коричневой куртке, сплошь усеянной сверху донизу золотыми пуговицами.

— Вам записка от баронессы.

Это случилось в первый раз, что Анна Владимировна написала ему. С некоторым волнением он разорвал длинный конверт с вензелем на левом верхнем углу, потянул в себя, нервно раздувая ноздри, странный волнующий аромат, которым благоухал сложенный вдвое листок бристольского картона с золотым обрезом, и прочитал следующее:

> «Зайдите ко мне на минутку. У меня есть для вас очень интересное предложение».

В гостиной у Анны Владимировны он застал еще одного посетителя, и тотчас же радость его души померкла. Это был самый популярнейший человек во всей Ялте, Яков Сергеевич Калинович, очень удачливый врач, а также прекрасный беллетрист старинной, немного тенденциозной, но благородной школы. Кроме того, это был неутомимый пешеход. Как только у него вырывалось несколько свободных дней, он пускался в путь, шагая такими огромными шагами, что за ним, пожалуй, не угналась бы почтовая лошадь, и на ходу он все время разговаривал сам с собой: «Да. Нет. Глупо. Да. Неправильно. К черту!» И бил при

этом палкой по встречным камням.

Благодаря этой страсти к путешествиям он всех знал, и его все знали. На всем крымском побережье, от Судака до Балаклавы, все уважали его как знающего врача, любили как честного и душевного писателя, и кто только не передразнивал его манеру заикаться при страстных идейных спорах и при этом вытягивать подбородок из воротника и вылезать руками из манжет.

Он сидел на низеньком мягком пуфе, причем колени его длинных пешеходных ног упирались ему чуть не в подбородок. Поздоровавшись с Лешедко, с которым он был знаком уже давно, доктор Калинович продолжал начатую речь:

— Значит, вы согласны? Так не будем же откладывать дела в дальний ящик. Почему делать завтра то, что можно сделать сегодня? Кста-ати, я приглашен именно на сегодня. Конечно, вы всегда можете по-поехать и сами. Вас, без сомнения, примет все виноделие с распростертыми объятиями и примет, стоя на коленях. Я, если позволите, с удовольствием буду вам сопу-путствовать. Но сегодня совсем исключительное дело. Мне как-то удалось вылечить жену заведующего погребом от довольно тяжелой болезни. С тех пор этот немец раз уже двадцать упрашивал меня поехать в его

погреба и осмотреть их. Он все соблазнял меня каким-то необыкновенным вином, оставшимся еще от того времени, когда массандрские винные погреба не принадлежали правительству, а составляли частную собственность. От того времени осталось всего лишь несколько десятков очаровательнейших вин. И в скла-д-ах виноделия так и называют эту коллекцию «Воронцовский музей». Выпить такого вина считает за громадную честь самый избалованный дегустатор. Да и помимо того, мы увидим очень много интересного. Ну что же, согласны, восхитительная?

Через час большое общество, кто верхом, кто в экипажах, мчалось по массандрской дороге, поднимая клубы мелкой белой горячей пыли. Дорога шла все время в гору, обрамленная с обеих сторон сплошной изгородью крымских «каменных» дубов, опутанных плющом. В скором времени прибыли в Массандру и въехали в широкий двор виноделия. Их встретили почти все служащие там чиновники удельного ведомства. Популярность Якова Сергеевича и обаятельность баронессы сделали то, что все они наперерыв старались показать компании все, что есть в Массандре достопримечательного: тоннель, проходящий чуть ли не за версту в глубь горы, где

температура зимой и летом стоит одинаковая, не колеблясь даже на сотую градуса, полтора миллиона бутылок разных вин, уже вполне готовых для продажи. Они стоят по обеим сторонам тоннеля в виде массивных, бесконечных призм, бочки для купажа[2], имеющие в себе более тысячи ведер, с днищами в два человеческих роста вышиной. Потом показали им весь сложный процесс мытья бутылок, наполнения, закупоривания, запечатывания, вплоть до наклейки ярлыка; все это быстро, бесшумно, с непостижимой механической ловкостью исполнялось многими десятками работников и работниц, одетых в одинаковые тиковые полосатые передники. Но, однако, в погребе было сыро и холодно, и баронесса, одетая весьма легко, в полупрозрачное кружевное платье, первая поежилась плечами и попросилась наверх, на солнце.

Тотчас же была устроена дегустация, то есть проба вин, которая всегда происходит в передней комнате погреба. Там стояла приятная прохлада, и южное солнце ласково и весело вторгалось сквозь открытые широкие двустворные двери. Все уселись вокруг длинного стола. Он вместо ска-

---

[2] Примечания: 2

Купаж — смешивание нескольких сортов виноградных вин.

терти был покрыт сплошным толстым стеклом. Сначала гостям дали расписаться в огромной посетительской книге, потом началось то священнодействие, которое называется дегустацией. Надо сказать, что это развлечение принадлежит к числу самых тяжелых и для непривычного человека гибельных. Сначала подавали легкое белое вино, потом легкое красное, и не одного типа, а нескольких, затем красное тяжелое и белое крепкое. Потом в таком же порядке следовали вина ароматные, вина типа марсалы, портвейн, херес всевозможных наименований, Asti Spumante, мускатное и в заключение ликерные: Lacrima Christi и розовая наливка. У всех в скором времени закружились головы, а главный рабочий (купер), по указанию начальства, таскал все новые и новые бутылки. Ужаснее всего было то, что к этой чудовищной смеси не подавалось никаких закусок. Хотя бы сыр или орехи! Истинные виноделы презирают эти вещи и называют их пренебрежительно «бисквитами для пьяниц». Закружились головы даже у самих хозяев, из которых каждый, конечно, считал себя тонким знатоком вин, и заплелись языки. Они щеголяли перед посетительницами, и уж, конечно, главным образом перед Анной Владимировной,

самыми удивительными, самыми непонятными характеристиками вин:

— Это вино кулантное. Это вино не успело еще опомниться. Это — вкусовое, а то — больше питьевое. Строптивое винишко, но ничего — обыграется. Лафит немножко бесхарактерный, брыкливое вино, обещающее, буржуазное, горьковатое, типа лоз St.-Estephe, и так далее.

В заключение, по таинственному знаку, сделанному старшим виноделом, рабочий отправился куда-то на несколько минут и вернулся с корзинкой, в которой, точно любимый ребенок, покоилась пыльная бутылка. И в самом деле, человек, принесший вино, был похож по-настоящему на старую, заботливую, влюбленную в младенца няньку: так осторожно и плавно он шел, стараясь не делать туловищем ни одного лишнего движения, так благоговейно держал он корзину на полупротянутых вперед руках.

Вино поставили в декантер (род станка, который механически, от вращения рукоятки, опускает горлышко бутылки и подымает ее низ для того, чтобы не взболтать и не замутить драгоценную жидкость).

— Да, мои господа, — сказал торжественно главный винодел, а кстати, его фамилия была

Келлер, — это вино шестьдесят третьего года. Приготовьте ваше внимание.

Но тут произошло нечто невероятное и почти ужасное. Милый, добродушный доктор Калинович вдруг вспомнил те далекие времена, когда он, еще будучи в Москве студентом, пировал в «Праге» и был знаменит тем между товарищами, что безошибочно определял на свет добротность и свежесть пива. Он вдруг выхватил драгоценную бутылку из декантера, схватил ее за горлышко, перевернул вверх дном и стал разглядывать ее на свет с видом знатока. Виноделы, все как один, закричали от ужаса и негодования: старший рабочий, по-тамошнему купер, застонал, побледнел и закрыл лицо руками. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Но дело все-таки кое-как уладилось. Купера попросили принести новую бутылку, а разболтанную отправить на место, чтобы она там полежала еще лет десять. Вторая бутылка была разлита благополучно, так же как и третья. Вино было совсем светлое, точно в стакане воды раздавили одну или две ягодки малины. Да и пахло оно малиной. Но действие его было смертоносное. Когда кончили четвертую бутылку, то никого из всей компании, кроме впившихся виноделов да Анны Владимировны, не было трезвого. Впрочем,

это слишком мягкое выражение. Вернее сказать, что все были совершенно пьяны и больше всех прокурор. В это-то несчастное время внимание баронессы привлекла одна из виденных ею раньше тысячеведерных бочек. Бочка была пуста, и внизу ее днища зияло тьмой правильное квадратное отверстие, шести вершков в высоту и шести в ширину. Баронесса наклонилась к нему и крикнула в бочку:

— У-у! У-у-у!

И глухой рев, такой, каким, должно быть, ревели на заре человечества диплодоки или ихтиозавры, ответил ей из бочки.

— Скажите, господа, для чего эта дырка? — спросила баронесса.

Виноделы тотчас же услужливо объяснили ей, что сквозь это отверстие пролезает человек, когда является необходимость вычистить бочку изнутри, потому что на внутренних стенках отлагаются осадки слоем до трех вершков.

— Но это же невозможно — вскричала баронесса. — Я убеждена, что двенадцатилетний мальчик не провезет в эту щель.

— Нет, отчего же? Трофимов, — крикнул он какому-то рабочему, — полезай!

Долговязый рыжий малый, вовсе уж не худо-

щаво сложенный, неловко вышел вперед, снял пиджачишко и остался в короткой синей рубашке, подпоясанной ремнем, снял ремень, потом нагнулся к дверке, вытянул вперед правую руку и тесно прижал к ней голову и таким образом боком стал протискивать в отверстие сначала руку с головой, потом правое плечо, потом левое плечо с ребрами и так, подобно ужу, минуты в полторы был уже в бочке, а через минуту он вернулся обратно.

Баронесса дала ему золотой и сказала с удивлением:

— Клянусь богом, я бы никогда этому не поверила, господа!

— Э-тя уд-дивительно, — сказал князь Абашидзе, старинный, безнадежный поклонник баронессы.

— Конечно, никто из вас этого, господа, не сделает, — продолжала баронесса. — Хотите, я обещаю поцелуй тому, кто сделает то же самое?

Лешедко мгновенно сорвался с места, причем его порядком-таки мотнуло в сторону.

— Это сделаю я! — И он с размаху ударил себя в грудь.

— Ах, боже мой! Но ваш новый, прекрасный белоснежный китель!

— Это пустяки! Впрочем, может быть, дамы позволят мне снять его?

И вот, оставшись без кителя, прокурор так же, как и рабочий, встал на колени перед отверстием, так же тесно прижал голову к вытянутой руке и начал протискиваться в бочку. Вероятно, у пьяных есть какой-то особенный бог, который им помогает. Минут через десять он уже вполз до поясницы так, что остались видны только его ноги. Он дрыгнул ими судорожно раз двадцать и исчез из глаз публики. Сначала из бочки ничего не было слышно. Потом раздалось какое-то мрачное, глухое рычание, которое нельзя было слышать без страха. Потом к этим нечеловеческим звукам присоединился топот, как будто по мостовой проезжала артиллерия. Баронесса с любопытством приникла ухом к лазейке и сказала с удивлением:

— Знаете что, господа? Он поет кэк-уок и пляшет. Allo! Allo!! Игнатий Игнатьевич! Хорошо вам там, во чреве кита?

— Бу-у-у! — пронеслось из бочки.

Лицо старшего винодела вдруг сделалось серьезным.

— Однако, знаете, господа! Пора, пожалуй, прекратить эту шутку. Лучше выпить десять бу-

тылок вина, чем надышаться этими спиртными испарениями. Ведь там, кроме винного угара, нет ни одного клочка свежего воздуха.

Он подошел к отверстию и крикнул:

— Послушайте, как вас? Ваше благородие! Однако вылезайте! Как бы с вами чего худого не случилось. Нам придется отвечать. Приз свой вы заслужили, ну и довольно. Да вылезайте же, черт вас возьми! Или я прикажу вас вывести насильно!

Из квадратной лазейки показалось бледное, вспотевшее лицо Лешедки. Пенсне на носу уже не было, а глаза смотрели мутно, раскосо и бессмысленно… А ртом он ловил воздух, как судак, извлеченный из воды. Язык его бормотал что-то бессмысленное, не имеющее ничего общего с звуками человеческой речи.

— Да слушайте же, несчастный человек! Вытяните вперед руку, прижмите к ней поближе голову. Теперь протискивайтесь!

Прокурор, которому еще говорил инстинкт, попробовал это сделать, но застрял теменем в отверстии, — и ни взад ни вперед! С большим усилием винодел и купер, наконец, вытащили его до шеи, но дальше они не могли ничего поделать. Воротничок, галстук, великолепные, шитые

золотом подтяжки мешали ему двинуться хоть на дюйм вперед.

— Ай! Черт!.. Вы мне руку оторвете! — закричал жалобно прокурор.

— В таком случае нам остается только одно, — посоветовал кто-то многоопытный и сообразительный, — пусть рабочий влезет в бочку и попробует его протиснуть сзади.

— Эй, вы, Диоген[3]! Ступайте назад. Трофимов! Полезай в бочку и помоги барину выбраться.

Рабочий с прежней быстротой и ловкой неуклюжестью исчез в лазейке. Вскоре опять на свет божий показалась плачевная физиономия, с помутившимися от страха и опьянения глазами и с красной ссадиной поперек лба. По-прежнему купер и винодел потянули его за руку и за голову. Истязуемый прокурор истерически визжал. По-видимому, он совсем лишился дара человеческой речи. Да и сказывалось ужасное опьянение винными испарениями. Он настолько ослабел и размяк, что не только ничем не мог помочь усилиям своих спасателей, но, наоборот,

---

[3] Примечания: 3

Диоген из Синопа (ок. 404–323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, ведший предельно аскетический образ жизни, основатель школы киников (*от его прозвища суоп — собака*); по преданиям, жил в Афинах в бочке.

тормозил их.

— Тащи его назад, Трофимов! — в бешенстве закричал винодел. — Тащи назад сейчас же! Да дергай же, тебе говорят!

В третий раз скрылся прокурор в глубокой мгле бочки и винодел крикнул в окошечко:

— Раздевай его! Слышишь! Что?! Да говори же ясней!.. Ну да, раздевай совсем догола!

И вот из темного квадрата, точно в силу какого-то волшебства, полетели галстук, воротник, панталоны, лакированные сапоги…

— Я предложил бы дамам удалиться, — посоветовал кто-то из посетителей.

Те послушались и вышли на свежий воздух. Зрелище становилось страшным. Вслед за ними вышли и дамские кавалеры. Когда виноделы, рабочие и доктор остались одни, то они перестали церемониться с телом бедного Лешедко. Но и раздетый буквально догола, он ни за что не хотел вылезать из бочки.

— Господа, — сказал серьезным тоном доктор. — Я не позволю в моем присутствии мучить человека. Будьте осторожнее.

— Стойте! — закричал купер. — Я придумал: смажем мы его машинным маслом. Грищенко! Беги ко мне на квартиру, принеси машинное

масло. Да живо! Смотри, как бы наш барин не окочурился в самом деле.

Принесши масло, сунули его в лазейку Трофимову, и долго было слышно из бочки чье-то кряхтение, чьи-то взвизгиваний и шлепки по голому телу. Наконец, в четвертый раз показалась из бочки голова прокурора, еще более беспомощного, чем раньше. Но машинное масло и дружный натиск трех раздраженных этой нелепой историей людей сделали свое дело. Вытащенный до поясницы, прокурор выскочил из бочки, точно пробка из бутылки с теплым шампанским.

Ах, если бы многочисленные преступники, которых прокурор в свое время закатал на каторгу и в арестантские роты, видели его в эту минуту! Они прониклись бы к нему жалостью. Еле стоявший на ногах, голый, весь блестящий от масла, весь в ссадинах и кровоподтеках, с головой, беспомощно склоненной на правый бок, пахнущий нефтью, он в эту минуту был поистине достоин сожаления. Даже виноделы почувствовали к нему сострадание. Они быстро достали откуда-то простыни, мохнатые полотенца и половики, вытерли и высушили бедное, израненное тело прокурора, заботливо одели его, смыв с костюма винные пятна, и бережно снесли до экипажа.

Оказалось, вся компания, кроме доктора, уехала, оставив друзьям, однако, на всякий случай экипаж. Ввалившийся в него прокурор тотчас же заснул в материнских объятиях Якова Сергеевича и так и не просыпался до самой Ялты.

А наутро, весь разбитый, со страшной головной болью, терзаемый жгучим стыдом и муками похмелья, он собрал свои вещи, расплатился и сел на первый попавшийся пароход, который отходил…

Впрочем, не все ли равно теперь было товарищу прокурора Лешедко, куда отходил его пароход?

1914